

Из праха восставшие

Автор:

[Рэй Брэдбери](#)

Из праха восставшие

Рэй Дуглас Брэдбери

Интеллектуальный бестселлер

Роман, писавшийся более полувека – с 1945 года до 2000-го – от одной символической даты до другой.

Роман, развившийся из рассказов «Апрельское колдовство», «Дядюшка Эйнар» и «Странница», на которых выросло не одно поколение советских, а потом и российских читателей. Роман, у истоков которого стоял знаменитый художник Чарли Аддамс – создатель «Семейки Аддамсов».

И семейка Эллиотов, герои «Из праха восставших», ничуть не уступает Аддамсам. В предлагаемой вашему вниманию семейной хронике переплетаются истории графа Дракулы и египетской мумии, мыши, прошедшей полмира, и призрака «Восточного экспресса», четырех развоплощенных кузенов и Фивейского голоса...

Рэй Брэдбери

Из праха восставшие

Двоим родовспомогателям этой книги:

Дону Конгдону, который был

при начале, в 1946-м, и Дженнифер Брель,

которая помогла довести дело до конца в 2000-м.

С благодарностью и любовью.

Пролог

Она здесь, прекрасная

На чердаке, где весенними днями нежно шуршал по крыше дождь, где декабрьскими ночами ты чувствовал близкую – какие-то дюймы – пелену снега, прозябала Тысячу-Раз-Пра-Праба-бушка. Она не жила, но и не была навеки мертвой, она... прозябала.

И теперь в преддверии Великого События, накануне Великой Ночи, теперь, когда близился радужный фейерверк Семейной Встречи, нужно было ее навестить!

Дверца чердачного люка вздрогнула.

– Все в порядке? – донесся снизу голос Тимоти. – Я иду! Да?!

Молчание. Египетская мумия не шелохнулась.

Она стояла в темном закутке, подобно ветхому, почерневшему обрубку дерева или обгорелой, выкинутой за ненадобностью гладильной доске. Тонкие сморщенные руки накрест уложены на иссохшей груди, сквозь узкие щели шелковой ниткой зашитых глаз проглядывает бездонная синева, древний пепельно-серый рот, где таится сморщенный лоскуток языка, беззвучно вздыхает, вспоминая каждый час каждой безвозвратно ушедшей ночи, извлекая из бездны четырех тысячелетий те времена, когда она, дочь фараона, одетая в паутинно-тонкое полотно и легкий, как сонное дыхание, шелк, с изумрудами и рубинами, горящими на запястье, сбегала по мраморным террасам сада, чтобы посмотреть на пирамиды, испарывавшие яростный египетский воздух.

Тимоти уже поднял вековую пылью покрытую дверцу и осторожно окликнул полночный чердачный мир:

- О прекрасная!

Губы древней мумии дрогнули, уронив несколько пылинок.

- Нет, уже не прекрасная.

- Ну, тогда бабушка.

- И не просто бабушка, - прошелестело в недвижимом воздухе.

- Тысячу-Раз-Пра-Прабабушка?

- Это уже лучше. Вино?

- Вино. - Тимоти просунулся сквозь узкий люк и встал. В его руке поблескивал крошечный флакон.

- Какого урожая, дитя?

- До Рождества Христова, бабушка.

- На сколько лет?

- На две тысячи до Рождества Христова, почти на три.

- Прекрасно. - Иссохшая улыбка сбросила легкое облачко пыли. - Подойди.

Осторожно пробираясь сквозь папирусные залежи, Тимоти подошел к более не прекрасной, чей голос сохранил все свое былое очарование.

- Дитя? - окликнула иссохшая улыбка. - Ты боишься меня?

- Всегда, бабушка.

- Смочи мои губы, дитя.

Тимоти поднял руку и уронил на чуть подрагивавшие губы крошечнейшую из капелек.

- Еще.

На оживавшие губы упала вторая капля.

- Все еще боишься?

- Нет, бабушка.

- Сядь.

Тимоти пристроился на краешке большого ящика, разрисованного иероглифами и воинами, богами псоглавыми и богами с головами как у льва.

- Почему ты здесь? - прошелестел иссохший голос.

- Завтра наступает Великая Ночь, бабушка! Я ждал ее всю жизнь. Завтра Семья, наша Семья, слетится сюда со всех концов мира! Расскажи мне, бабушка, как все это началось, как был построен этот дом, откуда мы сюда пришли, а еще...

- Хватит! - прервал его голос. - Я поведаю тебе о тысяче полдней, окунись в глубочайший колодец времени. Молчишь?

- Молчу.

- Так вот, - прошептало через сорокавековую пропасть, - как это было...

Место и город

Сперва, сказала Тысячу-Раз-Пра-Прабабушка, было только место на бескрайней, густо поросшей травой равнине и холм, на котором не было ничего, кроме все той же травы да дерева, скрюченного, как излом черной молнии, дерева, на котором ничего не росло, пока не вырос город и не появился Дом.

Все мы знаем, как город умеет собирать потребность за потребностью, пока сердце его не забьется и не начнет круговращать людей по предписанным им путям. Но вот как, спросите вы, появляется дом?

А дело в том, что там было это дерево, и лесорубы, устремлявшиеся на Дальний Запад, трогали его и говорили, что, надо думать, оно было здесь еще до того, как Иисус строгал доски в отцовской мастерской, до того, как Понтий Пилат умывал руки. Именно оно, считают некоторые, вызвало Дом из разгулов непогоды и глубин времени. Когда же этот Дом встал на место, глубоко укоренившись своими подвалами в китайских кладбищах, он явил собою зрелище настолько великолепное, сравнимое разве что с полузабытыми фасадами Лондона, что фургоны, совсем было собиравшиеся переправиться через реку, медлили в растерянности, ехавшие в них семьи разевали рты от изумления и решали, что раз уж это место достойно папского дворца, обиталища короля или королевы, вряд ли есть смысл его покидать. Поэтому фургоны останавливались, лошадей отпускали на водопой, и пока люди глядели, оказывалось, что их башмаки, а заодно и души уже успели пустить корни. Дом на холме, стоявший рядом с молнией дерева, ошеломлял любого, кто его видел; переселенцы не решались покинуть этот Дом из опасения, что он будет их преследовать во снах и сделает все другие, ждущие впереди места тусклыми и безрадостными.

Так что Дом появился первым, и его появление дало пищу для множества мифов, легенд и застольных пересудов.

Рассказывают, что однажды над прериями поднялся ветер с дождем; вскоре легкий ветер превратился в грозу, а гроза – в сокрушительный ураган. За ночь этот многоликий ветер подхватил каждый незакрепленный предмет между поселками Индианы и Огайо, оголил леса Северного Иллинойса, взвихрился над этим, еще пустынным холмом, стих и уверенной рукой невидимого божества

уложил, доска за доской, рейка за рейкой, гору строительного леса, которая еще до восхода сформировала себя в нечто, смутно привидевшееся Рамзесу и додуманное Наполеоном, когда тот бежал из утонувшего во снах Египта.

Там хватило бы балок, чтобы покрыть собор Святого Петра, и окон, чтобы ослепить летящих на зимовку птиц. На веранде, окружавшей Дом со всех сторон, с лихвой хватило бы места для праздника с участием всех его обитателей со всеми их родственниками. А внутри – улей, муравейник, лабиринт комнат и комнаток, достаточный, чтобы разместить отряд, взвод, батальон не рожденных еще легионов, жадно ждущий их грядущего пришествия.

И Дом этот был завершен задолго до того, как звезды растворились в свете нового дня, и он стоял пустым еще многие годы, не в силах призвать к себе своих будущих насельников. В каждой камерке было по мыши, за каждой печкой было по сверчку, дымили все печные трубы, каждую постель леденили какие-то, почти человеческие, существа. И еще: бешеные собаки в каждом дворе, живые горгульи на крышах. Все замерло в ожидании, чтобы оглушительный раскат давно ушедшей грозы возвестил: Начнем!

И наконец через многие долгие годы это случилось.

Глава 2

Приходит Ануба

Кошка пришла первой – чтобы быть первой.

Она пришла, когда все корзины и чуланы, все подвальные лари и чердачные кладовки все еще бредили октябрьскими крыльями, осенними вздохами и яростными глазами. Когда каждая люстра была вместилищем, а каждый башмак – пустым гнездом, когда все кровати изнывали по невиданной белизне, а все перила предвкушали скольжение легчайших, почти бесплотных существ, когда в каждом покоробленном веками окне кривились отражения призрачных лиц, каждое пустое кресло казалось занятым, каждый ковер мечтал о прикосновении невидимых ног, а насос-качалка на заднем дворе вздыхал, вытягивая гнусные

зелья к поверхности, заброшенной в опасении, что прорвутся и выхлестнут наружу кошмары, когда все половицы тихонько поскуливали о погибших душах, когда все флюгеры на высоких крышах вращались на ветру и скалили грифоньи зубы, а жуки-точильщики тикали в стенах в такт утекающему времени...

И только тогда появилась царственная Ануба.

Хлопнула парадная дверь.

И она вошла, облаченная в тончайшее высокомерие, бесшумнее бесшумнейших лимузинов, до которых еще века, благородная странница, чьи странствия продлились три тысячи лет.

Все началось, когда мумифицированную и спеленутую Анубу возложили, вместе с сотнями других кошек, к божественным стопам Рамзеса, где она проспала века и тысячелетия и могла бы спать еще, не разбуди ее грохот пушек: сперва Наполеоновы бандиты расстреливали для забавы львиный лик благородного сфинкса, а затем их самих смела в море картечь мамелюков. Потревоженные кошки, а в их числе и царственная Ануба, перебрались на задворки базара и прозябали там до той поры, когда из конца в конец Египта побежали паровозы королевы Виктории, сжигавшие в топках не уголь и дрова, а залитые битумом мумии из разграбленных могил. Черным дымом из труб так называемого экспресса Нефертити-Тут взмывали к небу предки и родственники Клеопатры и сажей оседали на землю на всем пути до Александрии, откуда избежавшие огня кошки и их высочайшая повелительница, ютившиеся в огромных рулонах папируса, отправились на пароходе в Бостон. На бумагоделательной фабрике, для которой предназначался груз, кошки ускользнули и рассеялись по фургонам стремившихся на запад поселенцев, а пущенные на переработку рулоны разнесли среди ни в чем не повинных рабочих массу жутких могильных бактерий. Египетские болезни буквально косили людей, больницы Новой Англии не справлялись с потоком пациентов, могильщики не успевали копать могилы, а тем временем кошки, добравшиеся до Мемфиса (штат Теннесси) или Каира (Иллинойс), пешком устремлялись дальше к городу, возникшему вокруг черного дерева, к высокому загадочному Дому.

И вот в эту ночь Ануба – черное пламя меха, усы как просверки молний – рысьими лапами вступила в Дом. И, не удостоив вниманием безжизненные комнаты с бессонными, заждавшимися постелями, проследовала прямо в большую гостиную к главному камину. Перед тем как сесть, она трижды

повернулась на месте, и в тот же миг в холодной пещере камина взвился огонь.

И пока она, царица кошек, отдыхала после долгого пути, по всему Дому ожили другие, меньшие камины и очаги.

Дымы, клубившиеся той ночью над трубами, вспоминали призрачный бег экспресса Нефертити-Тут, рассыпавшего по египетской пустыне грохот колес, и широко, как библиотечные книги, распластанные клочья пеленального полотна – чтение для ветра и песка.

И это, конечно же, было лишь первое из прибытий.

Глава 3

Высокий чердак

– А кто пришел вторым, Бабушка, кто пришел после нее?

– Второй была Спящая Сновидица.

– Какое хорошее имя, Бабушка. А почему она, спящая, пришла сюда?

– Ее призвал с другого конца света Высокий Чердак. Чердак, что над нашими головами. Второй по значению в Доме, он вбирает все ветра и оглашает весь мир голосом воздушных струй. Сновидица странствовала вдоль этих струй в грозах и бурях, под фотовспышками молний, неуклонно стремясь к гнезду. И она добралась, и теперь она здесь. Слушай!

Тысячу-Раз-Пра-Прабабушка вскинула свой бирюзовый взгляд.

– Слушай.

И наверху, в толще тьмы, шевельнулось некое подобие сна...

Глава 4

Спящая и ее сны

Он появился задолго до всяких слушателей – Высокий Чердак с разбитым стеклом. Погода и непогода, населенные облаками, бесцельно бредущими куда-то и никуда, свободно проникали в этот чердак, заставляя его говорить, а заодно – засыпали его пылью, раскладывая на его досках японский сад песка.

Что бормотали и нашептывали ветры и ветерки, перебиравшие плохо уложенную драпку, не мог разобрать никто, кроме Сеси, которая появилась здесь вскоре после кошки и стала прекраснейшей дочерью сошедшейся понемногу Семьи, прекраснейшей и самой необычной из-за ее способности проникать в уши других людей, а затем – в их мысли и еще дальше, в их сны; здесь, на чердаке, она лежала на песке древнего японского садика, в текучем море крошечных барханов, под сотрясаемой ветрами крышей. Здесь она слушала голоса погоды и дальних мест и знала, что происходит за этим холмом, и за морем, которое с одной стороны, и за далеким морем, которое – с другой, о чем свистит ветер, налетевший с севера, с вечных льдов, и что нашептывает вечное лето тропических морей и амазонских джунглей.

Во сне Сеси вдыхала времена года и слушала пересуды городков – и близких, раскиданных по прериям, и тех, что за горами, – и если спросить ее за обедом, она рассказывала о буйствах или достойных поступках неведомых незнакомцев, живущих в тысячах миль от Дома. Ее рот наполнился сплетнями о людях, родившихся в Бостоне или умирающих в Монтерее[1 - Город на Тихоокеанском побережье США, чуть южнее Сан-Франциско. (Здесь и далее прим. перев.)], всем тем, что она подслушала ночью, во сне.

В Семье частенько подшучивали, что если засунуть Сеси в музыкальную шкатулку, вместо этих шипастых латунных валиков, и покрутить, она сыграет корабли, уходящие в далекое плавание, и корабли причаливающие, а может – почему бы и нет? – и всю географию белого света, и даже всей Вселенной.

В общем, она была богиней мудрости, а потому Семья обращалась с ней как с тончайшим фарфором, позволяла ей спать сколько угодно, ведь потом, когда

она проснется, в ее рту будут отзвуки двенадцати языков и двадцати складов ума, философия, в количестве довольном, чтобы переспорить Платона в полдень и Аристотеля в полночь.

А теперь Высокий Чердак, с его древнейшими барханами пыли и его японскими, белоснежнейшими песками, ждал, и его дранка шевелилась и шептала, вспоминая будущее, до которого какие-то часы, будущее – когда ночные видения вступят в свои права.

Высокий Чердак шептал.

Сеси слушала, и в ней зрело нетерпение.

В суматохе крыльев, путанице мглы, и туманов, и душ, подобным лентам дыма, она увидела свою собственную душу, свои желания.

Поспеши, думала она. Скорее, о, скорее! Мчись вперед. Лети. А зачем?

– Я хочу любить.

Глава 5

Перелетная колдунья

Ввысь, а затем через ущелья, под звездами, над рекой, над поездами, над дорогой летела Сеси, летела незримо, как осенний ветер, как дыхание клевера, поднимающееся от заливных лугов. Она взмывала к небу в горлицах, нежных, как беличий пух, задерживаясь ненадолго в деревьях, и жила в их листьях, рассыпаясь в порывах ветра огненно-красным дождем. В зеленой, как молодая трава, прохладной, как листик мяты, лягушке она сидела на краю сверкающей лужи. В блохастой, облепленной репьями собаке она трусила по краю поля и слушала отзвуки своего лая, прилетающие от далеких сараев. Она жила в призрачных шарах одуванчика и в сладких, прозрачных соках головокружительно пахнущей земли.

Прощай лето, думала Сеси. Сегодня я побываю во всем живом, что есть в мире.

В аккуратном, щеголеватом сверчке она грелась на пыльном гудроне дороги, она зябко поеживалась в росной капле, повисшей на железных воротах.

- Любовь, - сказала она. - Где моя любовь?

Сеси сказала это за ужином. Ее родители пораженно замерли.

- Терпение, - посоветовали они. - Не забывай, что ты не такая, как все. В нашей Семье все необычные, не такие, как все. Мы не можем жениться на обычных людях, не можем выходить замуж. Иначе мы утратим свои темные души. Ведь ты же не хотела бы утратить способность странствовать, куда тебе заблагорассудится, верно? А раз так - будь поосторожнее. Поосторожнее!

Сеси вернулась к себе на чердак, чуть тронула духами ямку между ключицами и легла на кровать, дрожа от неясных предчувствий, а тем временем бледно-желтая луна, взошедшая над иллинойскими просторами, заменила воду в реках сливками и превратила дорожную пыль в платину.

- Да, - вздохнула Сеси, - я принадлежу к странной семье, которая летает по ночам, подобно стае черных воздушных змеев. Я могу жить в чем угодно - в камешке, в крокусе, в богомоле. Пора!

Ветер подхватил ее и понес над полями; вдали мягко теплились вечерние окна фермерских домов.

Но если я не такая, как все, и не могу любить сама, подумала Сеси, я могу любить через кого-нибудь другого!

Рядом с одним из домиков, в прозрачных сумерках, совсем еще юная - не старше девятнадцати лет - девушка весело поднимала из глубокого, с каменной кладкой колодца ведро воды.

Сеси - сухой листок - упала в колодец. Она проникла в мягкий мох, устилавший стенки колодца, и задержалась там на мгновение, глядя вверх, в темную прохладу. Затем она перебралась в дрожащую, не видимую глазом амебу. Затем

– в капельку воды. И наконец в холодной жестяной кружке была поднесена к теплым губам. Несколько глотков – негромкие, мирные звуки в сумеречном воздухе.

Сеси выглянула из глаз девушки.

Она смотрела на руку, держащую ручку ведра. Слушала через миниатюрные ракушки ушей звуки ее – этой девушки – мира, обоняла его запахи через тонкие, изящные ноздри. Чувствовала, как бьется незнакомое прежде сердце, чувствовала незнакомый язык в незнакомом рту.

Девушка испуганно вздрогнула, ее взгляд метнулся к ночному лугу.

– Кто там?

Тишина.

– Это просто ветер, – шепнула Сеси.

– Просто ветер, – неуверенно засмеялась девушка.

У нее было хорошее и удобное тело. В нем под округлой, упругой плотью таились изящные, тончайшей работы кости. Ее мозг был подобен пунцовой розе, ее рот наполнился чуть терпким вкусом сидра. Губы прочно покоились на сверкающей белизне зубов, глаза смотрели на мир из-под совершенных, как классические арки, надбровных дуг, мягкие блестящие волосы легко опадали на пенно-белую спину. Поры на ее коже были маленькие и туго сомкнутые. Аккуратный, чуть вздернутый нос и нежный румянец щек. Это тело легко, без малейшего принуждения переходило от одного движения к другому и все время что-то про себя напевало. Пребывать в этом теле было как нежиться у камина – или жить в мурчанье сонной кошки – или лениво плескаться в теплой полночной воде текущего к морю ручья.

– Да! – подумала Сеси.

– Что? – удивилась девушка, словно ее услышав.

- Как тебя звать? - осторожно спросила Сеси.

- Энн Лири, - сказала девушка и вздрогнула. - А зачем я сказала это вслух?

- Энн, Энн, - прошептала Сеси. - Энн, ты будешь любить, скоро.

И словно в ответ ей, от дороги рванулся рев мотора, скрежет покрышек по гравию. В большой, с открытым верхом машине сидел высокий юноша, рулевая баранка почти терялась в его огромных ручищах, широкая улыбка словно светилась своим собственным светом.

- Энн!

- Это ты, Том?

- А кто ж еще? - Он расхохотался и выпрыгнул из машины.

- Я не желаю с тобой разговаривать! - Энн крутнулась к Тому, едва не расплескав ведро.

- Нет! - крикнула Сеси.

Энн застыла, рассматривая далекие холмы и первые звезды. Глядя на юношу по имени Том, Сеси заставила ее пальцы разжаться и выронить ведро.

- Вот видишь, что ты наделал!

Том подбежал к ней.

- Видишь, что я из-за тебя сделала!

Том выхватил носовой платок, нагнулся и начал со смехом вытирать ее туфли.

- Убирайся!

Энн пнула руку Тома, но он только опять рассмеялся; Сеси видела размер и посадку его головы, крупный нос, живо блестящие глаза, ширину его плеч, твердую силу его рук, осторожно орудующих носовым платком. Глядя вниз из своего убежища на чердаке ладного тела Энн, Сеси дернула тайную чревоушательную веревочку, и прелестный рот распахнулся:

- Спасибо.

- О, так мы, оказывается, умеем быть учтивыми!

Запах кожи от его ладоней, запах автомобиля от его одежды коснулся нежных ноздрей, и далеко-далеко, за ночными лугами и осенними полями, Сеси пошевелилась на своей постели, словно увидев сон.

- Уж только не с тобой! - вскинула носик Энн.

- Тсс, тсс, говори поласковее, - сказала Сеси и направила пальцы к макушке Тома. Энн тут же их отдернула.

- Я совсем сошла с ума!

- Точно, - кивнул Том, по его лицу блуждала растерянная улыбка. - Ты что, хотела до меня дотронуться?

- Не знаю, я ничего не знаю! Уходи! - Ее щеки пылали, как угли.

- Чего ты боишься? Убегай, я же тебя не держу. - Том распрямылся. - Ну так как, передумала? Ты пойдешь со мной на танцы?

- Нет! - твердо сказала Энн.

- Да! - закричала Сеси. - Я никогда еще не танцевала, не носила длинное шуршащее платье. Я никогда еще не испытывала, что это такое - быть женщиной, танцевать, папа и мама мне не разрешают и не разрешат. Собаками, кошками, кузнечиками, листками - я побывала всем на свете, только не пробуждающейся женщиной в такую, как эта, ночь. Ну пожалуйста, мы должны пойти на танцы!

Она расправила свои мысли, как пальцы руки, вдеваемой в новую, непривычную перчатку.

- Да, - кивнула Энн Лири. - Не понимаю почему, но я пойду сегодня с тобой.

- А теперь домой, скорее! - крикнула Сеси. - Умойся, скажи родителям, надень платье. Скорее, скорее!

- Мама, - сказала Энн, - я передумала.

Машина с ревом улетела. В доме, куда вернулась Энн, закипела бурная жизнь; в ванне плескалась горячая вода, мать бегала, набрав в рот целый частокол шпилек.

- Что с тобою, Энн? Он же тебе не нравится.

- Да, не нравится. - Энн замерла: островок неподвижности в море лихорадочной суеты.

- Но это же прощание с летом! - подумала Сеси. - Возвращение лета перед приходом зимы.

- Лето, - сказала Энн. - Прощание.

- Самое время потанцевать, - подумала Сеси.

- ...танцевать, - пробормотала Энн.

А потом она была в ванне, и мыльная пена на ее гладких, как у нерпы, плечах, и маленькие гнезда пены у нее под мышками, и теплая плоть ее груди скользила в ее ладонях, и Сеси шевелила ее губами, складывая их в улыбку, подгоняла ее тело и не давала передышки, иначе все может рухнуть. Энн Лири должна все время двигаться, действовать, намылиться здесь, ополоснуться там, подняться из ванны.

- Ты! - Энн увидела себя в зеркале: сплошь белизна и румянец, лилии и гвоздики. - Кто ты такая?

- Семнадцатилетняя девушка. - Сеси глядела из ее фиалковых глаз. - Ты не можешь меня увидеть. Ты знаешь, что я здесь?

- Что-то тут не так, - покачала головой Энн. - Наверное, моим телом завладела предосенняя колдунья.

- Почти угадала, - рассмеялась Сеси. - Одевайся!

Прекрасное ощущение тонкого шелка, ползущего по шелковистой коже. А затем - окрик со двора.

- Энн, Том вернулся!

- Скажи ему... нет, подожди. - Энн села на стул. - Я не пойду на эти танцы.

- Что? - возмутилась ее мать.

Сеси испуганно вздрогнула. Ведь ясно же было, что нельзя оставлять Энн без присмотра, ни на секунду нельзя, ни на полсекунды. А тут вдруг донесся рев машины, спешащей через залитое лунным светом поле, и ей захотелось найти Тома, посидеть немного в его голове и ощутить, что это такое - быть двадцатидвухлетним юношей в такую ночь. Она было кинулась ему навстречу, а теперь пришлось вспугнутой птицей, опрометью летящей в оставленную клетку, стремглав нестись в смятенную голову Энн.

- Энн!

- Скажи ему, чтобы уходил!

- Энн!

Но Энн была непреклонна.

- Нет, я его ненавижу!

Нельзя было уходить ни на секунду. Сеси влила свою волю в руки юной девушки, в ее сердце, в ее голову, и все тихо, осторожно, чтобы не спугнуть.

- Встань,- подумала она.

Энн встала.

- Надень плащ.

Энн надела плащ.

- Иди!

- Нет!

- Иди!

- Энн, - сказала ей мать, - идешь ты, в конце концов, или нет? Что это с тобой?

- Ничего, мама. Спокойной ночи. Мы вернемся поздно.

Комната, полная танцующих голубей, взъерошенные перышки, хвосты наотлет. Комната, полная павлинов, полная сияющих глаз и света, а посреди нее кружится, кружится, кружится Энн Лири.

- Какой прекрасный вечер! - сказала Сеси.

- Какой прекрасный вечер! - сказала Энн.

- Ты какая-то странная, - сказал Том.

Музыка вихрем кружила их в полумраке; в потоках песни они плыли, они вырывались на поверхность, они тонули и задыхались и вновь всплывали, чтобы хватить глоток воздуха, они цеплялись друг за друга, как утопающие, и кружились среди шепота и вздохов под звуки «Прекрасного Огайо».

Сеси начала напевать. Губы Энн раздвинулись. Зазвучала мелодия.

- Да, странная, - сказала Сеси.

- Не такая, как всегда, - сказал Том.

- Сегодня - не такая.

- Ты не та Энн Лири, которую я знал.

- Да, не такая, совсем не такая, - прошептала Сеси, далеко-далеко, в милях и милях от этой комнаты.

- Да, совсем не такая, - сказали шевельнувшиеся губы.

- У меня очень странное ощущение, - сказал Том. - Насчет тебя. - Он кружил Энн, пристально всматриваясь в ее сияющее лицо, отыскивая в ней что-то. - Твои глаза, я не могу их понять.

- Ты видишь меня? - спросила Сеси.

- Ты словно и здесь, и не здесь. - Том бережно повернул ее в одну сторону, затем в другую.

- Да.

- Почему ты пошла со мной?

- Я не хотела, - сказала Энн.

- Тогда почему?

- Меня что-то заставило.

- Что?

- Не знаю. - Голос Энн нервно подрагивал.

- Тише, тише, - прошептала Сеси. - Молчи, и все тут. Кружись и кружись.

Они шептались и шуршали, вздымались и падали в полумраке комнаты, в водовороте музыки.

- Но все-таки ты пошла, - сказал Том.

- Да, - сказали Сеси и Энн.

- Пошли.

Он протанцевал с ней до открытой двери и наружу и увел ее от музыки и людей.

Они забрались в его машину и сели в ней, бок о бок.

- Энн, - сказал Том и взял ее руки своими дрожащими руками. - Энн.

Он произносил ее имя так, словно это и не ее имя, и безотрывно смотрел на ее бледное лицо, заглядывал ей в глаза.

- Было время, когда я тебя любил, и ты это знаешь, - сказал он.

- Знаю.

- Но ты сторонилась, и я боялся, что ты сделаешь мне больно.

- Мы очень молоды, - сказала Энн.

- Нет, я хотела сказать, прости, пожалуйста, - сказала Сеси.

- Не понимаю, что же ты хочешь сказать? - Том выпустил ее руки.

Теплая, как парное молоко, ночь дрожала и переливалась свежим запахом земли, неумолчным шепотом деревьев.

- Я не знаю, - сказала Энн.

- Да нет же, - сказала Сеси, - я знаю. Ты очень высокий, и ты самый красивый мужчина в мире. Это прекрасная ночь, ночь, которая запомнится мне навсегда, потому что мы в ней вместе.

Она протянула чужую, неохотную руку, нашла руку Тома, тоже неохотную, и крепко ее сжала.

- А сегодня, - недоуменно сморгнул Том, - тебя и вообще не понять. Сейчас ты одна, а через секунду - совсем другая. Я пригласил тебя сегодня на танцы просто ради старого знакомства. Я ничего такого не имел в виду. А потом, когда мы стояли у колодца, я почувствовал, что ты вдруг стала какой-то другой. В тебе появилось что-то новое, мягкое, что-то... - Он замолк, мучительно подыскивая слово. - Я не знаю, не знаю, как это сказать. Что-то такое с твоим голосом. И я понял, что снова тебя люблю.

- Нет, - сказала Сеси. - Ты любишь меня. Меня.

- Но я опять боюсь тебя любить, - сказал Том. - Боюсь, что ты сделаешь мне больно.

- Очень может быть, - сказала Энн.

Нет, нет, думала Сеси, я буду любить тебя всем своим сердцем! Скажи это, Энн, скажи, что я буду его любить!

Энн молчала.

Том чуть придвинулся и тронул ладонью ее щеку.

- Я нашел работу в сотне миль отсюда. Ты будешь по мне скучать?

- Да, - сказали Энн и Сеси.

- Можно, я поцелую тебя на прощание?

- Да, - сказала Сеси, прежде чем Энн успела что-нибудь решить.

Он коснулся губами чужих для Сеси губ. Он поцеловал эти губы, его била дрожь.

Энн окаменела.

- Энн! - сказала Сеси. - Да не сиди ты так! Обними его!

Энн не двигалась.

Том поцеловал ее еще раз.

- Я люблю тебя, - прошептала Сеси. - Я здесь, это меня ты видишь в ее глазах, и я люблю тебя и буду любить, даже если она не будет.

Том отстранился и взглянул ей в глаза, он выглядел как человек, пробежавший без остановки сто миль.

- Я не понимаю, что происходит. На секунду...

- Да?

- На секунду мне показалось... - Он прикрыл глаза ладонью. - Ладно. Отвезти тебя домой?

- Да, - кивнула Энн Лири. - Пожалуйста.

Том устало тронул с места. Они ехали под рокот и позвякивание машины сквозь совсем еще раннюю, одиннадцать с небольшим, осеннюю ночь, мимо сверкающих лугов и оголенных полей.

Я могла бы отдать все, что угодно, абсолютно все, лишь бы быть с ним, никогда с ним не разлучаться, думала Сеси, глядя на проплывающие мимо поля. И тут же в ее ушах еле слышно прозвучало вечное родительское предупреждение: «Будь осмотрительна. Выйдя замуж за обычного, прикованного к земле человека, ты сразу утратишь свои способности, ты же не хочешь этого, верно?»

Хочу, хочу, думала Сеси, даже и это отдала бы я без всяких раздумий, если бы только он меня захотел. Что с того, что сейчас я могу блуждать в пустынных ночных просторах, жить в птицах и собаках, кошках и лисицах, если я хочу одного – быть с ним. Только с ним.

Дорога шуршала, послушно ложась под колеса.

Энн молчала.

– Том, – сказала она наконец.

– Что? – холодно спросил Том. Он смотрел на дорогу, на деревья, на небо, на звезды – только не на нее.

– Если когда-нибудь – хоть через год, хоть когда угодно – ты попадешь в Грин-Таун, это здесь, совсем рядом, в нескольких милях отсюда, ты сможешь оказать мне небольшую услугу?

– Какую?

– Ты не будешь любезен повидаться там с одной моей подругой? – спросила Энн, запинаясь на каждом слове.

– Зачем?

– Это моя хорошая подруга. Я ей о тебе рассказывала. Я дам тебе ее адрес. – Когда машина подъехала к дому и остановилась, Энн достала из сумочки карандаш и листок бумаги, положила листок на колесо и написала на нем в лунном свете несколько слов. – Ты сумеешь это разобрать?

Том ошалело кивнул и взял бумажку.

Прочитал написанное.

- Ты зайдешь к ней когда-нибудь? – проговорил рот Энн Лири.

- Когда-нибудь.

- Обещаешь?

- Да при чем тут все это? – гневно воскликнул Том. – Зачем мне какие-то имена и адреса?

Он смял записку в тугий комок.

- Обещай, ну пожалуйста! – взмолилась Сеси.

- ...Обещай... – сказала Энн.

- Ну хорошо, хорошо, – крикнул он, – а теперь хватит!

Я устала, думала Сеси. Я не могу больше здесь задерживаться. Мне нужно вернуться домой. Я могу странствовать, летать лишь несколько часов в ночь. Но прежде чем уйти...

- ...Прежде чем уйти, – сказала Энн.

Она поцеловала Тома в губы.

- Это я тебя поцеловала, – сказала Сеси.

Том отстранил ее и впился глазами в Энн Лири, словно пытаюсь заглянуть в глубину бездонного колодца. Он ничего не сказал, но понемногу, очень понемногу его лицо стало смягчаться, и складки на нем разгладились, и закаменевшие было губы расслабились, и он все смотрел и смотрел вглубь освещенного луною лица. Затем он легко поднял ее, поставил на землю и уехал,

не сказав больше ни слова, даже не попрощавшись.

Сеси покинула Энн.

Из глаз освобожденной Энн брызнули слезы, она стремглав вбежала в дом и захлопнула за собою дверь.

Сеси если и помедлила, то лишь чуть-чуть. Она взглянула на теплый ночной мир глазами кузнечика. Взглянула глазами одинокой лягушки на гладкую, как зеркало, лужу. Глазами полночной птицы взглянула с верхушки высокого, посеребренного луной вяза вниз и увидела, как потухли окна в двух фермерских домиках – соседнем и далеком, за поворотом дороги. Она думала о себе и о Семье, о своей необычной способности и о том, что никто из Семьи не может и никогда не сможет сочетаться ни с кем из людей, населяющих этот огромный мир.

Том? Ее слабеющее сознание понеслось на крыльях птицы, над кронами деревьев и над полями, буйно заросшими дикой горчицей. Ты сохранишь бумажку, Том? Ты придешь ко мне однажды, когда-нибудь, хоть когда? И тогда – ты меня узнаешь? Посмотришь мне в лицо и сразу вспомнишь, где ты видел меня прежде, и поймешь, что ты любишь меня и что я тоже тебя люблю, всеми силами сердца, всегда и навсегда.

Она взбивала крыльями прохладный ночной воздух, в миллионе миль от людей и городов, над полями и континентами, реками и холмами. Том? Еле слышно.

Том спал. Была уже глубокая ночь, его костюм висел рядом на стуле. А в правой руке, лежавшей на белой подушке, у самой его головы, был маленький листок бумаги. Медленно-медленно, по крошечной доле дюйма в секунду, пальцы Тома сомкнулись на листке и крепко его сжали. Он не увидел и не услышал, как в ярком свете полной луны появился трепещущий силуэт птицы. Несколько секунд дрозд тихо, чуть слышно бился об оконное стекло, а затем упорхнул прочь и полетел на восток, над уснувшей землей, под усыпанным звездами небом.

Откуда Тимоти?

– А откуда я, бабушка? – спросил Тимоти. – Я тоже пришел через окно Высокого Чердака?

– Ты не пришел, дитя. Тебя нашли. В корзине, оставленной у двери Дома, с томиком Шекспира под ногами и «Падением дома Эшеров» вместо подушки. С запиской, приколотой к распашонке: ИСТОРИК. Ты был послан, дитя, чтобы описать нас. Исчислить нас в перечнях, запечатлеть наши побеги от солнца, нашу любовь к луне. Можно сказать, что тебя призвал Дом, твои крошечные кулачки с самого начала стремились писать.

– Но что писать, бабушка, что?

Древние губы шептали и бормотали, бормотали и шептали...

– Начнем с того, что сам этот Дом...

Глава 7

Дом, паук и ребенок

Дом был тайной внутри загадки внутри головоломки, потому что он вмещал в себя много разновидностей тишины, все – совершенно разные. В нем стояли кровати самых разных размеров, некоторые – с крышками. Кое-где потолки были так высоки, что позволяли летать, и на них имелись зацепки, чтобы тени могли висеть вниз головой, на манер летучих мышей. В гостиной каждый из тринадцати стульев имел счастливый номер тринадцать, чтобы никто не считал себя обделенным. С потолка свисала люстра с подвесками из страдальческих слез несчастных скитальцев, сгинувших в море пятьсот лет тому назад, в погребке на пятистах стеллажах хранились – по годам урожая – бесчисленные бутылки странных, с непонятными названиями вин, а заодно имелись пустые помещения для возможных гостей, не любящих спать ни на кроватях, ни на потолке.

Головоломной путаницей паутинных путей пользовался один-единственный паук, то стремительно падавший сверху вниз, то взмывавший снизу вверх, так что весь Дом казался неким диковинным инструментом, на котором играл этот непостижимо проворный Арах[2 - Арахниды – то есть паукообразные (от греч. «арахн» – паук).], беззвучно метавшийся между ветрами обуянным чердаком и погребом с невиданными винами, чтобы здесь – проложить новую нить, там – починить старую.

Комнаты и клетушки, кладовки и чуланы – так сколько ж их было всего, общим счетом? Этого не знал никто. Не тысяча, это уж слишком, но уж никак и не сто. Сто пятьдесят девять – так, пожалуй, будет ближе всего к истине, и каждая из них долгое время простояла пустой, сзывая постояльцев со всего света, томясь нетерпением принять в свои объятия заоблачных странников. Бывают дома с привидениями, этот же Дом лишь мечтал о привидениях, которые его заселят. Сто лет разносили ветры весть о Доме, и во всех краях земли мертвецы, пролежавшие в могиле невесть уже сколько лет, радостно осознавали, что их ждут занятия куда более удивительные. Каждый из них неспешно сворачивал свою загробную лавочку и начинал готовиться к дальнему полету.

Осенние листья всего мира срывались с места, сбивались в шуршащие стаи и устремлялись в глубь североамериканского континента, как перелетные птицы, спешащие на зимовку. Достигнув цели, они одевали голое дерево пылающими листопадами Исландии и Гималаев, мыса Доброй Надежды и мыса Горн, пока то, воспрянув в полном октябрьском цветении, не взрывалось плодами, сильно смахивающими на тыквенные маски Дня всех святых.

В каковое время...

Темной, ненастной, воистину диккенсовской ночью некто, проходивший по дороге, оставил у главных, литых из чугуна ворот одну из тех корзинок, в которых принято носить на пикник провизию. В этой лежало нечто совсем иное – вопившее, стонавшее и хныкавшее.

Дверь открылась, и появился приветственный комитет. Комитет состоял из женщины, супруги, невероятно высокой и тощей, мужчины, супруга, еще более высокого и тощего, и древней, едва ли не старше короля Лира, старухи, на чьей кухне не было никакой посуды, кроме котлов, а супчики, кипевшие в этих котлах, не стоило включать в чей бы то ни было рацион, и вот теперь эти трое склонились над корзинкой, откинули с нее кусок темной тяжелой ткани и узрели

истомившегося ожиданием младенца примерно двух недель от роду.

Их поразил его цвет, цвет неба за минуту до восхода, его дыхание, ритмичное и неслышное, как взмахи крыльев бабочки, отчаянный стук его сердца, крошечной птицы, бьющейся о прутья клетки, но тут, повинувшись какому-то порыву, Хозяйка Туманов и Топей (именно под этим именем знал ее весь мир) достала миниатюрнейшее из зеркал, которое она использовала не для того, чтобы изучать свое, не отражавшееся ни в каком зеркале лицо, а чтобы изучать лица чужаков, вызывавших у нее какое-нибудь подозрение.

- Смотрите! - воскликнула она, поднося зеркало к щеке младенца. - Видите?

- Проклятье и все такое прочее, - пробурчал бледный костлявый мужчина. - Его лицо отражается!

- Он не такой, как мы!

- Да, но все равно,- сказала бледная костлявая женщина.

Из корзинки на них смотрели маленькие голубые глаза, повторенные в зеркале.

- Не трогайте его, - сказал мужчина. - Пускай лежит.

И они совсем уже хотели уйти и оставить его на сомнительную милость бродячих собак и одичавших кошек, но в самый последний момент Темная Леди сказала: «Нет», а затем нагнулась, подняла корзинку с младенцем, отнесла ее по щебеночной дорожке в Дом и налево по коридору в комнату, которая мгновенно превратилась в детскую, потому что ее стенки и потолок были сплошь покрыты изображениями игрушек, какие рисуют в египетских гробницах для сынов фараона, которые сплавляются по тысячелетней реке тьмы, ведь нужен же им хоть какой-нибудь источник радости, чтобы заполнить зияющую пустоту этого сумеречного времени и озарить их лица хоть тенью улыбки. Для этой цели по стенам скакали собаки и кошки, а еще там были пашни, ждущие плуга, и поля колосющейся пшеницы, хлеба, какие едят смертные, и связки зеленых луковиц, чтобы дети безутешного фараона поменьше болели. И вот теперь в младенческой гробнице, в этом хладном царстве отчаяния, появился младенец, живой и очень шустрый.

– Сколько мне помнится, был когда-то некий святой, с детства подававший большие надежды, и звали его Тимоти[3 - Апостол Тимофей – один из семидесяти призванных позднее, чем первые двенадцать (см. Лк 10:1).], – сказала, тронув корзинку, осенне-зимняя хозяйка Дома.

– Да.

– А он, – сказала Темная Леди, – прелестнее всех святых. Это смирило мой страх и развеяло мои сомнения, и он, конечно же, не святой, но все равно – Тимоти. Верно, дитя?

Услышав свое имя, новый жилец Дома радостно запищал.

А под самой крышей Дома, на Высоком Чердаке, Сеси выплыла из глубин провидческого сна, повернулась на другой бок и приподняла голову, прислушиваясь к незнакомому радостному писку. И улыбнулась. На некоторое время в Доме повисла странная тишина, все подумали, как теперь сложится их жизнь, и если мужчина стоял неподвижно, а его супруга чуть согнулась, соображая, что же ей делать дальше, Сеси мгновенно осознала, чего недостает ее странствиям, что мало услышать здесь, увидеть и почувствовать там, нужно еще поделиться увиденным, услышанным и прочувствованным с кем-нибудь, кто обо всем этом расскажет. И этот рассказчик появился и во всеуслышанье объявил, что, как бы ни развернулись события, его маленькая рука, которая станет скоро сильной, проворной и ловкой, запишет их до мельчайших подробностей. Ободренная этой уверенностью, Сеси послала к ребенку невидимую паутинку своей мысли, чтобы опутать его и дать ему понять, что теперь они заодно. И подкидыш Тимоти почувствовал ее ласковое прикосновение, и смолк, и забылся блаженным сном, а недвижный до того мужчина увидел это и, почти против своей воли, улыбнулся.

А паук, никем до этого не замеченный, взбежал на корзинку, осторожно ощупал все вокруг, а затем обвился вокруг пальца ребенка – кошмарный папский перстень, чтобы благословлять в будущем некую призрачную конгрегацию, – и застыл настолько неподвижно, что стал похож на черный, гладко отшлифованный алмаз.

А тем временем Тимоти, даже и не подозревавший, что получил такое драгоценное украшение, знакомился с маленькими, но увлекательными

осколками безбрежных снов Сеси.

Глава 8

Мышь, прошедшая полмира

А раз уж в Доме был такой паук, там должна была быть и —

Необыкновенная мышь.

Уйдя из жизни в смерть, она провела пять тысячелетий в одной из гробниц Первой египетской династии и ускользнула на волю, когда не в меру любопытные французы сорвали фараоновы печати и первыми вдохнули кишасий бактериями воздух, который сперва убил их самих, а затем – много позднее, когда Наполеон уже ушел из Египта и щербатый от картечных выстрелов сфинкс восстановился в своих правах, – привел в смятение весь Париж.

Расставшись – помимо своей воли – с многотысячелетней тьмой, призрачная мышь добралась мало-помалу до морского порта и отплыла на одном корабле (хотя никак не вместе) с кошками в Марсель, затем в Лондон и в Массачусетс; прошло столетие, и она добралась до места – в то самое утро, когда у входа в Дом появилась корзинка с плачущим Тимоти. Мышь юркнула под порог и лицом к лицу столкнулась с восьминогим, агрессивного вида существом, чьи многочисленные колени угрожающе шевельнулись над страшной, ядовитой головой. Мышь замерла и не шевелилась несколько часов (что было с ее стороны весьма благоразумно). В конце концов арахниду надоело, и он удалился, чтобы позавтракать мухой. Мышь же нырнула в щель и тайными, внутривенными ходами пробралась в детскую. Младенец Тимоти, желавший приобрести побольше друзей, пусть даже крошечных и не совсем обычных, принял новоприбывшую с распростертыми объятиями и подружился с нею на всю жизнь.

А дальше этот Тимоти (не святой) рос и рос, пока не превратился во вполне уже большого человеческого ребенка, на чьем деньрожденном пироге зажгли целых десять свечей.

И вот теперь и Дом, и деревья, и вся Семья, и Тысячу-Раз-Пра-Прабабушка, и Сеси в ее чердачных песках, и Тимоти с верным Арахом в левом ухе, мышью на правом плече и царственной Анубой на коленях – все они ждали величайшее из пришествий...

Глава 9

Семейная встреча

– Они все ближе, – сказала Сеси.

– Где они сейчас? – спросил Тимоти и выглянул в чердачное окошко, его голос дрожал от нетерпения.

– Один из них над Европой, другие над Азией, кто-то над Полинезией, кто-то над Южной Америкой.

Сеси лежала на спине, смежив глаза; ее длинные темные ресницы мелко подрагивали, чуть приоткрытый рот отвечал Тимоти быстрым, почти без интонаций шепотом.

Тимоти отвернулся от окна и подошел к Сеси по дощатому, устланному обрывками папируса полу.

– А кто там? Кто это – они?

– Дядюшка Эйнар, и дядюшка Фрайн, и кузен Вильям, я вижу Фрулду, и Хелгара, и тетю Моргиану, кузена Вивьяна и дядюшку Йогана! Спешат изо всех сил!

– И они что, все летят?

Глаза Тимоти сверкали энтузиазмом; сейчас, стоя у кровати Сеси и заглядывая ей в лицо, он выглядел едва ли не младше своих десяти лет. Темный, одними лишь звездами освещенный Дом содрогался от порывов ветра.

– Они передвигаются и по воздуху и по земле, во многих обличьях, – сказала спящая Сеси. Она лежала абсолютно неподвижно и думала внутри себя, чтобы рассказать то, что видит. – Я вижу волкоподобное существо, переходящее ночную реку вброд, чуть повыше большого водопада, его шкура искрится в звездном свете. Я вижу кленовые листья, их гонит в нашу сторону ветер. Вижу, как машет крыльями маленькая летучая мышь. Я вижу много зверей и зверьков, бегущих по лесу или прыгающих по верхушкам деревьев, и все они спешат сюда.

– Пспеют ли они ко времени? – Тимоти нагнулся над спящей сестрой; паук, висевший у него на лацкане, качался, как черный маятник, и возбужденно перебирал лапками. – К назначенному времени Встречи?

– Да, Тимоти, конечно пспеют. – Лицо Сеси окаменело, опрокинулось куда-то внутрь. – Уйди. Дай мне постранствовать по моим любимым местам.

– Спасибо.

Спустившись с чердака, Тимоти побежал в свою комнату приводить в порядок незастланную постель. Он проснулся на закате, как только в небе зажглись первые звезды, и сразу побежал расспрашивать Сеси.

Потом он наскоро умылся, стараясь не забрызгать паука, свисавшего на серебристой петле с его тонкой шеи.

– Ты подумай, Арах, уже завтра, будущей ночью! В канун Дня всех святых!

В зеркале, единственном зеркале на весь Дом (материнская уступка его «недомоганию»), отражалось пылающее нетерпением лицо: о, если б он был нормальный, как все! Тимоти оскалил и критически осмотрел никудышные зубы, дарованные ему природой. Зернышки кукурузы, гладкие, мягкие и бледные, – тьфу, да и только! А клыки? Тупые. Как фасолины!

В небе погасли последние отсветы ушедшего дня, и Тимоти устало зажег свечи; последнюю неделю их маленькая семья жила по распорядку своих давних дальних стран – днем все спали, а на закате вставали и начинали суетиться, готовясь к Великому Событию.

– Ох, Арах, Арах, если б я мог действительно спать с утра до вечера, как все остальные!

Тимоти взял с тумбочки подсвечник со свечкой. Да... Вот если бы иметь зубы крепкие, как сталь, острые, как гвозди! Или научиться посылать свое сознание куда угодно, как Сеси, спящая на чердаке в древних аравийских песках. Да куда там, он ведь даже боится темноты! И спит – представить себе такое – на кровати! А не в этих, что в подвале, красивых деревянных ящиках! Мало удивительного, что прочие члены Семьи сторонятся его, словно какого-нибудь епископского сына. Вот если бы на его плечах проросли крылья... Он задрал рубашку и осмотрел свою спину в зеркале. Никаких признаков. Никакой надежды полетать.

Внизу – змеиное шуршание черного крепа, которым занавешивают все стены, все потолки, все двери. Горят тонкие черные свечи, их запах проникает в лестничный колодец вместе с голосом матери и, чуть потише, голосом отца, отвечающего ей из подвала.

– Ох, Арах, – вздохнул Тимоти, – а позволят ли мне по-взаправдашнему участвовать в празднике? – Паук молча крутился на конце своей шелковинки. – Не просто там бегать за мухоморами и паутиной, развешивать креп да вырезать дырки в тыквах, а носиться и кричать, вопить и хохотать – участвовать в празднике. Позволят? Да?!

Вместо ответа Арах мгновенно сплел на зеркале паутину, в центре которой красовалось одно-единственное слово: Nil![4 - Здесь: Нет! (лат.)]

На первом этаже одна и единственная кошка носилась как угорелая, одна и единственная мышь пронизывала гулкие стены нервными, скребущими звуками, словно выкрикивая: «Общая встреча! Общая встреча!»

Тимоти поднялся к Сеси, все так же погруженной в глубокий сон.

– А где ты сейчас, Сеси? – прошептал он. – В воздухе? На земле?

– Уже скоро, – пробормотала Сеси.

- Скоро! – расцвел Тимоти. – День всех святых! Скоро!

Он отодвинулся, поразглядывал тени загадочных птиц и зверей, пролетавших по ее лицу, а затем спустился на первый этаж.

Из распахнутого чердачного люка струился запах мокрой земли.

- Отец?

- Давай сюда! – крикнул отец. – На полусогнутых!

Тимоти чуть помедлил, глядя на тысячи теней, качавшихся на потолке обещанием скорых прибытий, и прыгнул в подвал.

- Ну-ка, надрай до блеска постель дядюшки Эйнара!

- Дядюшка Эйнар такой большой? – поразился Тимоти. – Семь футов?

- Восемь.

- Восемь?! – Тимоти схватил бархотку и начал усердно полировать ящик. – И двести шестьдесят фунтов?

- Ты бы сказал еще «двадцать шесть», – фыркнул отец. – Триста! А внутри этого ящика хватит...

- Места для крыльев?

- Места, – рассмеялся отец. – Для крыльев.

В девять часов Тимоти вышел из Дома под капризное октябрьское небо и побежал в маленькую, насквозь продуваемую то теплым, то холодным ветром рощицу собирать мухоморы.

Окна соседних ферм горели тусклым желтым огнем.

– Знали бы вы, что творится сейчас в нашем Доме, – сказал им Тимоти, а затем поднялся на крутой холм, откуда был виден отходящий ко сну городок, светлые пятнышки окон и церковные часы, казавшиеся с расстояния в несколько миль крошечной серебряной монеткой. «И вы тоже не знаете», – подумал он.

Через два часа он решил, что мухоморов, пожалуй, хватит, и вернулся домой.

Затем начался торжественный ритуал. Отец оглашал гулкой подвал темными, как тысячелетний мрак, словами; бледные, как слоновая кость, руки матери делали таинственные пассы, вся Семья молилась – кроме Сеси, которая так и лежала у себя на чердаке. Но Сеси тоже была здесь. Он видел, как она смотрит то из глаз Биона, то из глаз Сэмюэля, то из материнских, а потом чувствовал, как чужая сила поворачивает его собственные глаза и снова исчезает.

Тимоти взывал ко тьме:

– Пожалуйста, ну пожалуйста, помоги мне стать таким, как они – те, которые скоро будут здесь, которые никогда не стареют и не могут умереть, они сами так говорят, не могут умереть, что бы ни случилось, а может, они уже давно как умерли, но Сеси позвала, и мать с отцом позвали, и бабушка, которая еле слышно шепчет, и они теперь мчатся сюда, а я – ничто. Пустое место, не такой, как они, умеющие проходить сквозь стены и жить на деревьях и даже жить под землей, пока большое, случающееся каждый семнадцатый год наводнение не выкинет их наружу. Дай и мне стать таким же. Если они живут вечно, почему же мне-то нельзя?

– Вечно, – эхом откликнулась мать, услышавшая его слова. – О Тимоти, я уверена, что должен быть какой-нибудь способ. Посмотрим, подумаем. А теперь...

Ставни задрожали. Бабушкин кокон из папируса зашуршал и зашелестел. Жуки-точильщики в стенах защелкали как бешеные.

– Пусть начнется, – воскликнула мать. – Начнись!

И поднялся ветер.

Он бросился на леса, поля, горы и пустыни, как огромный невиданный зверь, огласив осень, время утрат, плача и скорби, своим воем, сумрачной песнью в честь темных субстанций, взвихренных им во всех уголках мира. И ветер не рассеивал свою добычу бесцельно, а нес ее всю в одно место, в Северный Иллинойс. Его стонущие порывы бесстыдно грабили кладбища и погосты, жадно набрасывались на пыль, веками копившуюся в тусклых глазницах мраморных ангелов, высасывали из могил призрачную бесплотную плоть, хватали без разбора увядшие, не имеющие названий погребальные цветы, безжалостно отрясли с друидских деревьев весь урожай осенних листьев и сухими, шелестящими потоками бросили их в небо, легионы огненных птиц и яростных глаз, безумно пылавших в океане прожорливых облаков, остервенело рвавших себя на полосы, на вымпелы во славу захватчиков пространства, которые все прибывали в числе, заливая небо такими безутешными стопами по давно ушедшим годам, что миллионы фермеров, мирно спавших на своих фермах, просыпались с лицами, мокрыми от слез, и не могли понять, неужели крыша опять протекла, и откуда вдруг дождь, с вечера было совсем не похоже, и это бесплотное воинство, оседлавшее яростный, замешанный на осенних листьях и могильном прахе поток, перемахнуло через взбаламученное море и вихрем закружило над холмом и Домом со всеми, кто в нем был, и, главное, над Сеси – дремотным маяком, который благополучно довел воздушных гостей до цели и теперь давал им сигнал на посадку.

На самом верхнем из чердаков Тимоти заметил, как глаза Сеси – нет, не открылись, а только мигнули, и сразу за этим...

Окна Дома с треском распахнулись – дюжина здесь, две дюжины там, – впуская воздух давно ушедших тысячелетий. Через кратчайшее из мгновений весь Дом, со всеми его окнами и дверями, распахнутыми настежь, превратился в одну огромную ненасытную утробу, которая взахлеб заглатывала полночную тьму; все его комнаты и комнатухи, подвальные кладовки и чердачные чуланы бились в пароксизмах долгожданного блаженства.

Тимоти по пояс высунулся из чердачного окошка и застыл горгульей из плоти и крови; на его потрясенных глазах несметная армада могильного праха и паутины, крыльев, октябрьских листьев и кладбищенских цветов хлестала стены и крыши Дома, а по всей округе, в лесах, полях и на холмах, скользили, прядая ушами и влаивая на луну, легионы острозубых, бархатнолапых теней.

Эти отродья земли и воздуха лезли в Дом через каждое окно, каждую дверь и каждый дымоход.

Твари, летавшие нормально или бешеными зигзагами, ходившие на двух ногах – или трусившие на четвереньках – или ковылявшие вприпрыжку, как увечные призраки, твари, словно изгнанные сбрендившим, слепорожденным Ноем из некоего погребального ковчега, тысячеязыкие и безъязыкие, размахивавшие вилами и осквернявшие воздух.

Все домашние держались чуть в стороне, наблюдая, как нескончаемый поток многоголосых теней, дождей и туманов заполняет подвал, как гости рассасываются по стеллажам, помеченным годами, когда они умерли, чтобы позднее – сегодня – восстать из мертвых, как в гостинной рассаживаются по стульям дядюшки и тетюшки с весьма необычной генетикой, как к старухе, хозяйничающей на кухне, присоединяются добровольные помощники, рядом с которыми она сама – верх красоты и изящества, как входят, или прокрадываются, или влетают и начинают водить менюэты под потолком, вокруг канделябров, все новые и новые аберрантные кузены, полузабытые племянники и странноватенькие племянницы; ощущая, как комнаты внизу заполняются неведомыми гостями и картины на стенах опасно раскачиваются от кошмарного наплыва наименее приспособленных, сумевших уцелеть наперекор всем домыслам позднейшей науки. Мышь бешено носилась в медленно оседавших клубах египетского дыма, паук, висевший до того у Тимоти на шее, забился к нему в ухо с паническим, никому не слышным криком: «Спасайся, кто может!», сам же Тимоти спрыгнул с чердачного окна и замер, восторженно глядя на Сеси, сомнамбулическую распорядительницу всего этого бедлама, увидел на мгновение, как вспыхнули гордостью бездонно-синие глаза многожды-Прабабушки, опрометью бросился вниз и чуть не оглох от суматошного шума-гвалта; он словно попал в исполинскую птичью клетку, куда со всех сторон слетались неведомые полночные твари, слетались и продолжали хлопать крыльями, ежесекундно готовые к отлету, а затем раздался оглушительный раскат грома (хотя молния и не сверкнула) и последнее грозное облако накрыло Дом, как крышка – кастрюлю, и все окна с грохотом начали захлопываться, и двери тоже, и шум немного стих, небо прояснилось, дороги и тропинки опустели.

А ошеломленный Тимоти издал вопль восторга.

На него уставились тысячи теней. Две тысячи глаз с вертикальными зрачками, горящих желтым, зеленым, желто-зеленым, как сера, огнем.

А затем Тимоти словно попал на взбесившуюся, в разгон пошедшую карусель, его закрутило и бросило о стену, и он повис там, беспомощный и несчастный, наблюдая дикий хоровод всеобразных лиц и форм из клубящегося дыма и тумана, пляску раздвоенных копыт, высекающих искры из пустоты, и висел так, пока кто-то не опустил его на пол.

– А это, значит, Тимоти? Ну конечно, вне всяких сомнений! Руки слишком уж теплые. Пот на лбу. Давненько, давненько я не потел. А там что такое? – Скрюченный волосатый кулак ударил Тимоти в грудь. – Да никак это твое сердчишко? Колотится и колотится, да?

Над ним нависло хмурое бородатое лицо.

– Да, – выдавил из себя Тимоти.

– Бедняга! Но ничего, мы его быстро остановим!

Под взрыв всеобщего хохота ледяная рука и безжалостное, круглое, как блин, лицо исчезли в водовороте туманных форм.

– Это был твой дядюшка Джейсон, – сказал голос матери, оказавшейся вдруг совсем рядом.

– Я его не люблю, – прошептал Тимоти.

– А ты и не обязан его любить, сынок, совсем не обязан его любить. Не любишь, значит, так уж вышло. Дядюшка Джейсон управляет похоронами.

– А чего ими управлять? – удивился Тимоти. – Все и так знают, куда нести.

– Отлично сказано! Ему как раз нужен подмастерье!

– Только не я, – сказал Тимоти.

– Не ты, – согласилась мать. – А теперь зажги побольше свечей. И подай вино. – Она сунула ему в руки поднос с шестью всклянь наполненными кубками.

– Это не вино, мама.

– Лучше, чем вино. Ты хочешь быть таким, как мы, или не хочешь?

– Да. Нет. Да. Нет.

Судорожно всхлипывая, он уронил поднос на пол, бросился к двери и вырвался наружу, в ночь. Под лавину крыльев, обрушившуюся на его лицо, плечи, руки. Крылья беспорядочно хлопали его по ушам, по глазам, по поднятым в тщетной попытке защититься кулакам, и постепенно из этой суматошной неразберихи выплыло весело ухмыляющееся лицо, и тогда Тимоти закричал:

– Эйнар! Дядюшка!

– Своею собственной персоной! – крикнуло в ответ лицо, а затем сильные руки подбросили Тимоти высоко вверх, он испуганно завизжал, повис на мгновение в воздухе, а крылатый человек подпрыгнул, поймал его и с хохотом увлек еще выше, к ночному небу.

– Как ты меня узнал? – крикнул человек.

– А только один дядя с крыльями, – пробормотал, задыхаясь, Тимоти; они поднялись над крышами, спикировали вниз, скользнули в нескольких дюймах от обшитого дранкой ската, мимо чугунных горгулий и снова, крутым виражом, взметнулись к небу, откуда были видны просторы лугов и полей, простирающихся на все четыре стороны света.

– Лети, Тимоти, лети, – крикнул огромный перепончатокрылый дядюшка.

– Я лечу, лечу!

– Нет, ты лети по-взаправдашнему, сам!

С громким хохотом дядюшка отшвырнул Тимоти в сторону, и тот начал падать вниз, пока дядюшкины руки его не поймали.

– Ну что ж, со временем все получится, – сказал дядюшка Эйнар. – Думай. Хоти. Но вместе с хотением – старайся!

Тимоти крепко зажмурил глаза, плавая под огромными, мерно взмахивающими крыльями, которые заполняли все небо и заслоняли серебряную россыпь звезд. Он ощущал на лопатках маленькие бутоны огня и хотел, изо всех сил хотел, чтобы они стали больше, лопнули и раскрылись! Проклятье адово. Адово проклятье!

– Всему свое время, – сказал дядюшка Эйнар, угадав его мысли. – Когда-нибудь все получится, или ты не мой племянник! Ну – поехали.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Город на Тихоокеанском побережье США, чуть южнее Сан-Франциско. (Здесь и далее прим. перев.)

2

Арахниды – то есть паукообразные (от греч. «арахн» – паук).

3

Апостол Тимофей – один из семидесяти призванных позднее, чем первые двенадцать (см. Лк 10:1).

4

Здесь: Нет! (лат.)

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/ru/rey-bredberi/iz-praha-vosstavshie-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)